

ОДНАЖДЫ к нам в класс явился старый человек. И сказал, что он актер нашего городского драматического театра, что зовут его Левкоев Евгений Дмитрич, что теперь он ведет драмкружок в нашей школе и сейчас хочет попробовать кое-кого из нашего класса, чтобы посмотреть, годимся мы в артисты или нет.

И вот, значит, он объяснил цель своего визита в наш класс, а Александра Ивановна назвала нескольких мальчиков и девочек, которых можно было попробовать. Я попал в их число. Я как-то сразу был уверен, что попаду в их число. Я был от природы довольно громогласен и считал эту особенность даром хотя пока для меня и туманного, но примерно такого предназначения. Все мы прочли по одному стихотворению. Евгений Дмитрич из всех выбрал меня, что опять же меня не удивило, и велел на следующий день прийти в одно из помещений школы, куда должны были собраться кандидаты в артисты.

На следующий день в назначенное время я пришел в это помещение, где собралось человек десять или пятнадцать мальчиков и девочек нашего возраста или несколько постарше.

Евгений Дмитрич окончил занятие с группой старшеклассников и занялся нами. Он сказал, что нам предстоит подготовить к общегородской олимпиаде постановку по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде».

Для проверки способностей он стал давать читать каждому из нас тот или иной кусочек этой сказки. Мальчики и девочки стали читать, и многие из них страшно волновались, еще дожидаясь своей очереди, а некоторые даже сучили ногами и слегка подпрыгивали.

Скорее всего от этого волнения, начиная читать, они путали слова, заикались, а уж о громогласности и говорить нечего, громогласностью никто из них не обладал. Вероятно, именно по этой причине я чувствовал себя совершенно спокойно.

И не только спокойно. Я почему-то был уверен, что роль Балды, конечно, достанется мне и что сам Евгений Дмитрич об этом знает, но, чтобы не обижать других приглашенных ребят, он все-таки вынужден их выслушивать.

Удивительно, что когда кто-нибудь из ребят, читавших отрывок, ошибался в интонации или неправильно произносил слово, я с неслышанным нахальством старался переглядываться с Евгением Дмитричем, как переглядывается Посвященный с Посвященным, хотя за всю жизнь всего лишь один раз был в нашем драматическом театре.

На мои взгляды Посвященного актер отвечал несколько удивленным, но не отвергающим мою посвященность взглядом. Когда дело дошло до меня, я спокойно прочел текст с некоторым утробным гудением, что должно было означать наличие больших голосовых возможностей, которые сдерживаются дисциплиной и скромностью теще.

— Вот ты и будешь Балдой, — клокотнул Евгений Дмитрич.

В сущности, я ничего другого не ожидал. Одному мальчику, который был года на два старше меня, он сказал:

— Ты свободен...

Мне даже стало жалко его. Ведь Евгений Дмитрич этими словами намеревался, что этот мальчик никуда не годится. Другим он или ничего не говорил, или давал знать, что должен подумать об их судьбе. А этому прямо так и сказал. Кстати, звали этого мальчика Жора Куркулия.

— Можно я просто так побуду? — спросил Жора и улынулся жалкой, а главное, совершенно не обиженной улыбкой.

— Икалста! — сердито прошипел Евгений Дмитрич и тут же забыл о его существовании.

В тот день он распределил роли, и мы стали готовиться к олимпиаде. Репетиции дважды в неделю проходили в этом же помещении. Старшеклассники ставили сцену из какой-то бытовой пьесы, а после них начинали мы разыгрывать свои роли. Иногда Евгений Дмитрич немного задерживался со старшеклассниками, и тогда мы досматривали хвост этой сцены, где гуляка-муж после всех увещаний сослуживцев и домашних обещал исправиться, но вдруг в последний момент, схватив гитару (на репетициях он хватал большой треугольник) и якобы брякая по струнам, вдруг запевал:

Я цыганский Байрон,
Я в цыганку влюблен...

— Не Байрон, а барон, запомни, — поправлял его Евгений Дмитрич, но это сути дела не меняло. Из его пения гуляки ясно следовало, что он все еще тянется к распутной жизни своих дружков.

Помню, сначала — ну там, наверное, три-четыре раза — у меня еще теплился интерес к моей роли, а потом он начисто пропал, и я уже как-то механически ходил на репетиции.

Должен сказать, что и раньше мне эта сказка не очень-то нравилась, а теперь она и вовсе в моих глазах потускнела. Так или иначе, играл я отвратительно. Чем больше мы репетировали, тем больше я чувствовал, что ни на секунду, ни на мгновение не могу ошутить себя Балдой. Какое-то чувство внутри меня, которое оказывалось сильнее сознания необходимостью войти в образ, все время с каким-то уличающим презрением к моим попыткам быть не собой отталкивало от меня этот образ.

Внешне все это, конечно, выливалось в деревянную, скованную, фальшивую игру, которую я пытался прикрыть своей громогласностью.

Надо сказать, что во время первых репетиций, когда еще только разучивался текст, громогласность давала мне решительные преимущества перед остальными ребятами, и я время от времени продолжал переглядываться с Евгением Дмитричем взглядом Посвященного. Кульминацией этого взгляда во время первых репетиций можно считать то обстоятельство, что я распространял его даже на постановку старшеклассников, когда мы их заставляли за занятиями. Чаще всего этот взгляд вызывал к жизни все тот же распутный муж, который в исполнении нашего школьника упрямо переначивал текст своей песенки:

Я цыганский Байрон,
Я в цыганку влюблен...

Но потом, когда мы стали по-настоящему разыгрывать роли и мне все трудней и трудней становилось прикрыть громогласностью бездарность исполнения, а я тем не менее с каким-то настороженным упорством продолжал бросать на Евгения Дмитрича посвященные взгляды, на которые он сначала перестал отвечать, потом стал отвечать взглядами негодующими, а так как бездарность моей игры возрастала, в конце концов в ответ на один из моих по-

священных взглядов он так задохнулся от недовольства, заурчал, закашлялся, налил такой фиолетовой яростной кровью, что я перестал обращать его внимание на чужкие недостатки.

Может быть, из-за этого, а может быть, для того, чтобы оправдать перед собой свою плохую игру, я стал приглядываться к самому образу Балды и нашел в нем массу несимпатичных черт.

Например, меня раздражал грубый обман, когда вместо того, чтобы тащить кобылу, Балда вскачил на нее и поехал. Казалось, каждый дурак, тем более бес, хотя он и бесенок, мог догадаться, что это обман. И то, что бесенок подлез под кобылу, с тем чтобы ее поднять, тоже казалось мне как-то неоправданно жестоким. Да и вообще мирные черты, вынужденные платить людям ничем не заслуженный оброк, казались мне приятней этого самоуверенного Балды.

А между прочим, Жора Куркулия все время приходил на репетиции и уже как-то стал необходим. Он первым бросался отодвигать столы, чтобы освободить пространство для сцены, открывал и закрывал окно, стояло только Евгению Дмитричу посмотреть в ту сторону, тащил наши костюмы, когда мы стали играть в костюмах, иногда даже бегал за папиросами для нашего руководителя. Он стал кем-то вроде завхоза нашей маленькой труппы.

Однажды, когда мы уже репетировали в костюмах, Евгений Дмитрич предложил ему роль задних ног лошади. Жора с радостью согласился. Мы уже играли в костюмах. Лошадь была сделана из какого-то очень твердого картона, покрашенного в рыжий цвет. Внутри картонной лошади помещались два мальчика, один впереди, другой сзади. Первый просовывал голову в голову лошади и выглядывал оттуда через глазные дырочки. Голова лошади была прикреплена к туловищу на винтах, что давало воз-



можность лошади двигать головой вполне естественно, потому что и винты, и вся шея лошади были скрыты под густой гривой.

Первый мальчик должен был ржать, качать головой и указывать направление всему туловищу, то есть второму мальчику, потому что там, сзади, тот находился почти в полной темноте лошадиного брюха. На его обязанности лежала необходимость время от времени оживлять лошадей игрой хвоста, к репке которого изнутри была прикреплена деревянная ручка. Тряхнул ручкой — лошадь тряхнула хвостом. Опустил ручку — лошадь подняла хвост. Оба мальчика соответственно играли передние и задние ноги лошади.

Интересно, что Жора Куркулия получил свою роль после того, как Евгений Дмитрич несколько раз пытался показать мальчику, играющему задние ноги лошади, как выбивать ногами звук галопирующих копыт. У мальчика никак не получался этот звук. Вернее, когда мальчик вылезал из-под крупа лошади, у него этот звук кое-как получался, а под лошадь не получался.

— Вот так надо, — вдруг не выдержал Куркулия Жора и без всякого приглашения выскочил и, топоча своими лягастыми ногами, довольно натурально изобразил галопирующую лошадь.

Этот звук галопирующей лошади в изображении Куркулии очень понравился нашему руководителю. Он пытался заставить мальчика перенять этот звук, но у того ничего не получалось. Причем после каждой его попытки Куркулия уже сам выходил и крепким и точным топотом изображал галоп. При этом он, подобно чечеточникам, сам прислушивался к мелодии топота и призывал этого мальчика прислушаться и перенять ее. Увы, мальчик этот так и не смог перенять великолепный звук, издаваемый наблукнами Куркулии, и Евгений Дмитрич поставил Жору на его место.

Через несколько репетиций Куркулия вдруг из-под задней части лошадиного брюха выдал великолепное звонкое ржанье, которое очень понравилось Евгению Дмитричу. Евгений Дмитрич стал обучать мальчика, изображавшего голову лошади и ее передние ноги, этому звонкому лошадиному ржанью, каждый раз кончающемуся храпом. Разумеется, этот мальчик никак не мог изобразить такое звонкое ржанье, не говоря о храпе. И вот, чтобы, с одной стороны, не терять этого ржанья, а с другой стороны, чтобы не получалось, что лошадь ржет противоположной стороной своего туловища, пришлось задние ноги лошади заменить передними, а передние задними.

Репетиции продолжались, я продолжал громогласностью, которую с большой натяжкой можно было отнести в счет нахрипистости Балды, прикрывать бездарность и даже недобросовестность своего исполнения.

Иногда я забывал то или иное место из своей роли, и нередко тот же Куркулия мне подсказывал. Возможно, что он выучил всю сказку наизусть. По-видимому, сам я все еще считал, что достаточно много очков набираю своей громогласностью.

Однажды, когда я споткнулся в одном месте, то есть забыл строчку, вдруг лошадь обернулась в мою сторону и сказала с явным акцентом:

— Попляши-тка ты под нашу ба-ля-ляй-ку!

Все рассмеялись, а Евгений Дмитрич сказал:

— Тебе 6 цены не было, Куркулия, если б ты избавился от акцента...

В один прекрасный день, играя с ребятами нашей улицы в футбол, я вдруг заметил, что к нам бежит Куркулия. Он бежал со стороны школы и делал какие-то знаки руками, явно имевшие отношение ко мне. Сердце у меня екнуло, я вспомнил, что мне давно пора на репетицию, а я совсем забыл о ней.

Когда мы вошли в помещение для репетиции, Евгения Дмитрича там не было, и я, надеясь, что все обойдется, стал переодеваться. И вот уже я в лаптях, в косоворотке, перепоясанный веревкой, и в рыжеватом парике, с бородой. Только я взял в руки лошадку, упрямо негнувшуюся, противную веревку, при помощи которой Балда якобы мутит чертей, как в помещении вошел Евгений Дмитриевич Левкоев.

— Марш переодеваться! — гаркнул он мне. Я вынул веревку, и она упала, громко стукнув о пол, как бы продолжая отстаивать и отстояв свою негнущуюся сущность. Я стал переодеваться. Я думал, он меня выгоняет, но оказалось гораздо хуже.

— Одевайся, Куркулия, — сказал он и кивнул мне, — а ты будешь на его месте лошадь играть.

И вот, хотя до этого я не испытывал от своей роли никакой радости, я вдруг почувствовал, что глубоко оскорблен и обижен. Обида была так глубока, что мне было стыдно протестовать против роли лошади. Если бы я стал протестовать, было бы всем ясно, что я очень дорожу ролью Балды, которую у меня только что отняли. Уж лучше пусть думают: мол, вот не дорожил ролью и поплатился за это.

А между тем Жора Куркулия стал поспешно одеваться, смачно сопя и поглядывая на меня. И вот он уже сунул

Фазиль ИСКАНДЕР

свои лягастые ноги в мои актерские штаны, ловко обулся в лапти, ловко наматал на ноги веревки, перепоясаясь веревкой, надвинул парик, подхватил мой негнувшийся канат, крепко тряхнув его, как бы пригрозив сделать его в самое ближайшее время гнущимся, и предстал перед Евгением Дмитричем эдаким ловким, подтянутым мужичком.

— Молодец, — сказал Евгений Дмитрич.

«Молодец?! — думал я с язвительным недоумением. — Как же он будет выступать, когда он лошадь называет лёщадью, а балалайку — балаялкой?»

Началась репетиция, и оказалось, что Жора Куркулия прекрасно знает текст, а уж играет явно лучше меня. Правда, в смысле произношения он по-прежнему прихрамывал. Но Евгений Дмитрич был так доволен его игрой, что стал находить достоинства даже в его произношении, над которым сам же раньше смеялся.

— Даже лучше, — говорил он, кивая головой, — Куркулия будет местным, кавказским Балдой.

А когда Жора Куркулия стал крутить мою негнущуюся веревку с какой-то похабной деловитостью и верой, что сейчас он этой веревкой раскрутит мозги всем чертям, при этом прислушиваясь своими большими выпуклыми глазами к тому, что происходит там, на дне, стало ясно: мне с ним не тягаться.

Я смотрел на Жору, удивляясь, что в самом деле у него все получается гораздо лучше, чем у меня. Это меня не только не примиряло с ним, но, наоборот, еще больше раздражало и растревляло. «Если бы, — думал я, выглядывая из дырочек для лошадиных глаз, — я мог поверить, что все это правда, может быть, я не хуже его крутил веревку и прислушивался к тому, что происходит там, на дне».

Прошло минут двадцать — тридцать со времени моего прихода на репетицию, а Куркулия уже верхом на мне галопирует по комнате.

В довершение всего мальчик, раньше игравший роль передних ног и головы, теперь запросился на свое место, потому что выяснилось, что я галопирую и ржу не только хуже Куркулии, но и хуже этого мальчика. После всего, что случилось, я никак не мог бодро галопировать и весело ржать.

— Надо ржать весело, раскатисто, — говорил Евгений Дмитрич и, приложив руки ко рту, заржал как-то чересчур благостно, чересчур доброжелательно, словно под-сказывая Балде, что ему делать.

— Пойми, — пояснил он дальше, видимо, довольный своим ржаньем, — Балда слышит это веселое ржанье и догадывается, как провести бесенка. А ты ржешь слишком уныло. По твоему ржанью он ни о чем не может догадаться...

— Он ржит, как голёдная лёщадь, — пояснил Жора.

Хоть мы и играли сказку, хоть я и чувствовал, что ржу похуже Куркулии, а все-таки понимал, что в ржании Евгения Дмитрича слишком много намека, что это неправдоподобно...

Одним словом, я оказался на месте задних ног лошади. Оказалось, что сзади гораздо трудней, во-первых, потому, что там было почти темно, а во-вторых, оказывается, Жора Куркулия основной тяжестью давил на задние ноги. Видно, обрадовавшись освобождению от этой тяжести, мальчик, вернувшийся на свое переднее место, весело

заржал, и Евгений Дмитрич остался им доволен. Вот так, начав с главной роли Балды, я перешел на самую последнюю роль задних ног лошади, и мне оставалось только хрюкать под Жорой и время от времени подергивать за ручку, чтобы у лошади вздымался хвост. Самое ужасное заключалось в том, что как-то дома я проговорился о нашем драмкружке и о том, что я буду во время олимпиады играть в драматическом театре роль Балды.

— Почему ты должен играть Балду? — сначала обиделась тетушка, но потом, когда я ей разъяснил, что это главная роль в сказке Пушкина, теще ее взыграло. Многим своим знакомым и подружкам она рассказывала, что я во время школьной олимпиады буду играть главную роль по сказкам Пушкина — обобщала она для простоты и отчасти для скрытия имени главного героя. Все-таки имя «Балда» ее несколько оскорбляло.

И вот в назначенный день мы за кулисами. Там полным-полно школьников из других школ, каких-то голеастых девчонок, тихо мечущихся перед своим выходом. Мне-то вся эта паника была ни к чему, у меня было все просто. Я выглянул из-за кулис, и увидел в полутьме тысячи человеческих лиц, и стал вглядываться в них, ища тетушку. Вместо нее я вдруг увидел где-то в середине зала нашу учительницу Александру Ивановну. Это меня слегка взбодрило, и я мысленно отметил место, где она сидела.

И вдруг совсем близко от сцены, где-то в третьем или четвертом ряду, я увидел тетушку с подружкой — тетей Тamarой, со своим мужем и с моим дядюшкой Колей. За-чем она его привела, для меня так и осталось загадкой. То ли для того, чтобы продемонстрировать перед знакомыми две крайности нашего рода — вот, мол, наряды с некоторыми умственными провалами имеются немалые сценические достижения, то ли просто кто-то не пошел и его взяли с собой, чтобы не совсем пропал билет.

Действие уже шло, но тетушка оживленно переговаривалась с тетей Тamarой, во всяком случае они о чем-то говорили, это было видно по их лицам. Я понимал, что для тетушки все, что будет показывать до моего выступления, — что-то вроде журнала перед кинокартиной.

Я, содрогнувшись, представил ее разочарование. У меня была смутная надежда на пожар. Я слышал, что в театрах бывают пожары. Тем более за сценой я видел двери с надписью «Пожарный выход». Кроме того, там же, за сценой, стоял живой пожарник в каске и с тусклой противо-пожарной неприязнью следил за мелькавшими мальчиками и девочками. Но пожара все не было и не было. И вот уже кончается сцена, которую разыгрывают наши старшеклассники, и подходит место, где мальчик, играющий гуляку-мужа, должен, пробренчав на гитаре (на этот раз настоящей), пропеть свою заключительную песню. Сквозь собственное уныние со странным любопытством, как дети сквозь плач, я прислушиваюсь, ошибется он или нет.

Я цыганский... Байрон,
Я в цыганку влюблен...

Евгений Дмитрич, стоявший недалеко от меня, схватился за голову, но, между прочим, в зале никто ошибки не заметил. Наверное, все решили, что так и надо петь.

Но вот началось наше представление. Я со своим напарником должен был выступать несколько позже, поэтому я снова высунулся из-за кулис и стал следить за тетушкой.

Когда я высунулся, Жора Куркулия стоял над оркестровой ямой и крутил свою веревку, чтобы вызвать оттуда старого черта. В зале все смеялось, кроме моей тетушки. Даже мой дядюшка смеялся, хотя, конечно, ничего не понимал в происходившем. Просто раз всем смешно, что мальчик крутит веревку, и раз это ему лично ничем не угрожает, значит можно смеяться...

Вид тетушки был непереносимо траурным. На Жору Куркулию она смотрела, как на человека, убившего меня. У меня был смутный вариант, что если вдруг наши не поймут, что не я играл Балду, то я не буду их разубеждать. Но в такой близкий тетушка не могла не увидеть, что не я играю Балду. Теперь у меня оставалась надежда полностью исчезнуть из этой постановки, потому что сказать ей, что я с роли Балды перешел на роль задних ног лошади, было невыносимо.

Голова тетушки уже слегка по-старушечьи покачивалась, как обычно бывало, когда она хотела подчеркнуть, что даром загубила свою жизнь на своих непутевых племянниках.

Жора Куркулия нагло ходил по сцене с оттопыренными, как у балерины, лягастыми ногами. Играл он, видимо, хорошо. Во всяком случае в зале то и дело вспыхивал смех. Но вот настала наша очередь. Наш руководитель накрыл нас туловищем лошади, я ухватился за ручку для вздымания хвоста, и мы стали постепенно выходить из-за кулис.

Мы появились на окраине сцены и, как бы мирно пасясь, стали подходить все ближе и ближе к середине сцены. Одно наше появление уже вызвало хохот зала, и я чувствовал некоторое артистическое удовлетворение от того, что волны хохота усиливались, когда я дергал за ручку, вздымавшую хвост лошади.

Еще больше смеялись, когда бесенок подлез под нас, а уж когда Куркулия вскачил на лошадь и сделал круг по сцене, грохот стоял неимоверный.

Одним словом, успех у нас был огромный, и когда мы ушли за кулисы, аплодисменты заставили нас снова выйти, и вместе с нами вышел Евгений Дмитрич Левкоев, и чувствовалось, что зрители его знают и любят. Я думал, на этом все кончится, как вдруг неожиданно свет ударил мне в глаза, из зала раздавался новый шквал аплодисментов, и я с ужасом понял, что Евгений Дмитрич снял с нас картонный круп лошади.

Как только глаза мои привыкли к свету, я взглянул на тетушку. Голова ее теперь не только покачивалась по-старушечьи, но и бесильно склонилась на бок. Она как бы говорила: «А что топчешь?».

А главное, вокруг все хохотало, и даже мой дядя пришел в восторг, увидев меня, вывалившегося из лошадиного брюха. Сейчас он усиленно обращал внимание тетушки на то, что именно я, ее племянник, оказывается, сидел в брюхе лошади, не понимая, что это и есть источник ее трагедии.

А что говорить о том, что я испытал потом дома? Не лучше ли:

— Занавес, маэстро, занавес!